



## Иннокентий АННЕНСКИЙ

### Эстетика «Мертвых душ» и ее наследье

На низком и глубоком стуле сидит похудевший донельзя человек; на нем халатик и трогательно смятая вокруг тонкой шеи белая сорочка, с которой как бы не сошел еще отпечаток мучительной ночи. Сидит он, немного подавшись вперед, и смотрит прямо перед собою, и в самой позе его чувствуется то особое, пристальное, как бы хищное любопытство, которое умел испытывать только Гоголь.

Да — это Гоголь. Это — его тревожная заостренность черт, и его, столь для нас близкая, глянцеви́то завесившая ухо, скобка волос.

Прямо перед сидящим — широкий раствор очага, и огонь наивно похож там на прихотливо разросшийся тропический куст.

В ногах у Гоголя, возле самого огня, — казачок на корточках и ждет его приказаний. Один небольшой сверток мальчик, не глядя, уже подпалил, а другой и покоробившаяся от соседства с пламенем тетрадка ожидают своей очереди.

На камине не столько вещь, как эмблема — часы, но, должно быть, уже с тонко звенящим, больше не державинским боем<sup>1</sup>. На втором плане накрытый точно для молебна столик и там античная люцерна<sup>2</sup> и кто-то крылатый сделал последний шаг, чтобы дунуть на огонь светильника и погасить существование Гоголя. Но крылатому стало страшно или грустно? Он неловко осел на выступившую уже правую ногу и так и замер, закрыв лицо бескровными кистями рук. А в распахнутой двери остановилась сплошь, с головою, закрытая белая фигура, книзу расходящаяся конусом, и чья-то невидная рука высоко держит перед покрывалом небольшой и поблескивающий потир.

Я пересказал вам один *наивный и трогательный* рисунок, сделанный в самый год смерти Гоголя. Вот еще, значит, когда началась гоголевская легенда. Я бы хотел, однако, посмотреть на рисунок Солоницкого<sup>3</sup> немножко иначе, чем привыкли мы это делать, говоря о смерти Гоголя особенно. Забудем, хоть на минуту, о трагедиях. Пусть Гоголь здесь в последний раз и, несмотря на все немощи, страхи и напутствия, переживает еще раз и вопреки всему тот восторг дорожных созерцаний, в котором когда-то волшеббно слились для нас и Гоголь-фантаст, и Гоголь-реалист, и Гоголь раздумья, и Гоголь смеха, и Гоголь-ястреб, и сентиментальный Гоголь.

Пусть это не свиток загорается с отнятым у нас сокровищем, а уже готовый потухнуть — вспыхивает напоследок и тот единственный в мире поэт, который умел слить в экстатической любви к бытию, — не к жизни, а именно к бытию, — пыльный ящик с гвоздями и серой и золотую полосу на востоке и у которого прозрачный и огненный лист клена, даже сияя из густой темноты своей, не дерзал кичиться перед рябым столбом придорожья.

Пусть это еще прежний Гоголь устроил себе перед очагом последний праздник *золотого перебирания страниц жизни*, где, фантастически сменяясь, проходят перед ним пятна картин, то солнечных, то туманных, то лунных. Вот безвестный городишко весь засыпан месяцем. Вон — переправа на скользко-туманном рассвете. Вон — сад сомлел от полудня. И не опять ли сладострастно чередуется для Гоголя это, еще в детстве излюбленное им, засыпание в бодрящем холодке уже сдавшейся ночи и томное пробуждение под солнцем, почти отвесным. И ведь именно там, в дороге, даже скорей, пожалуй, *в воспоминании о дороге*, и рождались не только дразнящие пятна гоголевских картин, но и гениальнейшие из его *синтезов*. И даже самая Русь — Русь, чего ты хочешь от меня? — и та не была ли она лишь полудетским миражом в итальянской панораме воспоминания?<sup>4</sup>

И разве не дорога, не гоголевская дорога с ее простором, с волшебной примиренностью ее пестроты, с ее унылым зовом и безудержным порыванием вдаль, — не вперед, заметьте, а именно вдаль, в неизвестное, — разве не эта дорога дала Гоголю и те стихии, которые, слившись в один укоризненно-фантастический символ, обусловили не только грандиозный план «Мертвых душ», но и неизбежность покаянной за них расплаты?<sup>5</sup>

А что греха таить, господа... Ведь «Мертвые души» и точно тяжелая книга и страшная. Страшная и не для одного автора. Чего

заглавие-то одно стоит, точно зубы кто скалит: «Мертвые души»... Ведь никогда и нигде в мире то, что называют пошлостью, так не покоряло и так не было прекрасно. Что уж тут на клячу-то заезженную ссылаться, — заездили, мол, добродетельного человека.

Да и отца Матвея не лишнее ли беспокоить?

Дело в том, что в каждом из нас есть два человека, один — осязательный, один это — голос, поза, краска, движение, рост, смех.

Другой — загадочный, тайный.

Другой — это сумеречная, неделимая, несообщаемая сущность каждого из нас. Но другой — это и есть именно то, что нас животворит и без чего весь мир, право, казался бы иногда лишь дьявольской насмешкой.

Первый прежде всего стремится быть типом, без типичности — ему зарез. Но только второй создает *индивидуальность*.

Первый ест, спит, бреется, дышит и перестает дышать, первого можно сажать в тюрьму и заколачивать в гроб. Но только второй может в себе чувствовать *Бога*, только второго *можно упрекать*, только второго можно *любить*, только второму можно *ставить моральные требования*, и даже нельзя их не ставить...

Гоголь оторвал первого из двух *слитых жизнью людей* от второго и сделал его столь ярко-типичным, люди у него вышли столь *ошеломляюще-телесными*, что тот, второй человек, оказался решительно затертым. Он стал прямо-таки не нужен даже, так как первый, осязательный, отвечал теперь за обоих. И вот, новый в литературе, этот *первый* весело принялся царить — *смеясь* царить.

Ну, скажите... Вот Чичиков в только что сшитом фраке наваринского дыма с пламенем<sup>6</sup>, вымытый одеколоном, целует сапоги у чиновника, превысившего его рангом.

Неужто у вас повернется язык сказать, что это, мол, Гоголь карает стяжание, сребролюбие и низость?

И разве вы хоть на минуту подумаете, что здесь-то и лежит основание художественной концепции Гоголя? Или — можете вы себе представить, что вот на постели старая Коробочка, и у нее жидкие, седые косенки распустились, что к постели подходит с дароносицей старенький священник и что вдруг какой-то страстный инстинкт тысячелетней веры возносит эту скудную душу из ее мотков и талек на такую чистую, такую заоблачную высь, что туда не посмеет заглянуть, пожалуй, и иной философ...

Типическая телесность Гоголя, оставляя в тени *сумеречного человека*, безмерно росла зато вширь.

Она загромоздила, она *сдавила* мир. Не только вокруг Собакевича, но и возле него, даже на нем были только Собакевичи. И мужики, и избы, и даже имена мужиков, и кушанья, и стулья, и дрозд, и фрак, и герои на стенах — все были Собакевичи. И не так, как Вертеры и Гамлеты, когда те так поэтично окрашивали мир своей элегией или драмой, нет, по-другому, конкретней, телеснее, а главное, страшнее, потому что, делая все собою, этот *центральный Собакевич* и сам фатально нисходил на *ранг вещи*<sup>7</sup>, самую типичность свою являя в последнем выводе лишь *кошмарной карикатурой*.

В Ноздреве тоже *телесность* была, так сказать, творящая. Ноздрев это вовсе не *враль* и даже, собственно, не *Ноздрев*. Это какое-то *неудержимое*, какое-то *сумасшедшее* обилье: это — веселое безразличие природы.

Обилье во всем: в щеках, откуда волосы растут, как весенняя трава, в кушаньях, словах, фантазиях, шулерских приемах, скандалах. Когда Ноздреву везло, он накупал: хомутов, курильных свечек, платков для няньки, жеребца, изюму, пистолетов, селедочек, картин. И не символизирует ли производительность пышных щек Ноздрева и его страсть барышничать, посредничать, меняться, скандалить, словом — всю его страстную и неистощимую фантазию и даже более — фантастичность. А Манилов? Разве он не весь в *губах*, в смачно-присосавшемся поцелуе?.. А эти люди-*брови*? Даже *люди-запахи*... оставляющие в нас такое чувство, что больше ведь ничего для человека и не надо.

Да еще и есть ли в прокуроре-то или Петрушке что-нибудь, кроме бровей и запаха, так дивно, так чудовищно олицетворившихся?

А Чичиков, разве его природа не определяется вся его едою? И, с другой стороны, разве не именно Чичиков вносит гармонию и единство в чудовищный мир еды и телесности «Мертвых душ»? Блины у Коробочки, няня у Собакевича... кулебяка у Петуха, нет, весь Петух, вся греза Петуха с его осетром, кумачами, лодкой в фонарях, с песельниками и даже объевшимся псом... Потом поросенок с хреном и сметаной в трактире с темным навесом на деревянных выточенных столбиках, похожих на церковные подсвечники... Классический слоеный пирожок, всегда готовый к услугам... и, наконец, два горячих калача, которые Чичиков прижал к бричке, — что же все это другое, как не сам Чичиков, как не его несокрушимая, стяжательная крепость, не его веселое усвоение, не его чисто зоологическая приспособляемость. Недаром

самая мечта даже Чичикова была так похожа на аппетит. И как ни страшна кажется гоголевская телесность, когда она вдруг выступит у него во всей своей наглой атлетичности... — помните, например, когда «сольвычегодские уходили на смерть устьысольских, хотя и от них понесли крепкую ссадку на бока, под микитки и в подсочельник... У одного из восторжествовавших даже был вплоть сколот носос...» (это — вместо нос)... — но она, на мой взгляд, еще гораздо страшнее, когда Гоголь заставляет нас *сличать человека с природой, особенно поэтической*, и заключать к их *омерзительному единству*, к их унижающему человека безразличию.

Вон колоссальный ствол березы, лишенный верхушки, отломленной бурей или грозой, круглится в воздухе, как сверкающая колонна. А сделайте 20 шагов, и перед вами... что-то старое, с заплатами, ненужное, гадкое и с табаком на остром подбородке. Там буря пролетела, здесь детки постарались. Но процесс-то прошелся ведь и по саду, и по старику один и тот же. Процесс *дичания и заплывания*... И если в результате сад стал таким обаятельным, а Плюшкин таким пошлым и мерзким, то ведь это уж, как хотите, а все же деталь в том мире, по крайней мере, ради которого стоит быть художником. О, великий писатель!

Что бы было с нашей литературой, если бы он *один за всех нас* не подъял когда-то этого *бремени* и этой *муки* и не окунул в *бездонную телесность* нашего столь еще робкого, то рассудительного, то жеманного, пусть даже осиянно-воздушного пушкинского слова.

Пушкин и Гоголь. Наш двуликий Янус. Два зеркала двери, отделившей нас от старины.

Так и кажется, что все, что было у нас до Пушкина, росло и тянулось именно к нему, к своему еще не видному, но уже обещающему солнцу.

Пушкин был завершителем старой Руси. Пушкин запечатлел эту Русь, радостный ее долгим неслышным созреванием и бесконечно гордый ее наконец-то из-под сказочных тряпиц засиявшим во лбу алмазом.

Не то Гоголь. Со страхом и мукой за *будущее русской литературы* стоит он перед нею, как гений, осеняющий ее безвестный путь. Совершенство Пушкина, пускай лучезарно далекое, — ведь оно прежде всего так ласково улыбалось с своей высоты робкому и темному. Оно его манило, оно окрыляло его.

Красота Гоголя наоборот: она подходила к человеку совсем близко, казалось, вплотную, а тот сам отпрядывал от ее ослепительно страшного соседства. Люди пошли не к Гоголю, они пошли от Гоголя, они разошлись от него, как далекое сияние. Но, уходя каждый в свою сторону, из самой святости его творения, из благодати его страдальчества, эти люди выносили две заветных, гоголевских мысли. Первая — я буду *сам собою*. Вторая — я буду любить *одну загадку*, только одну, ту, с которой я родился, загадку моей родины.

Сколько их. Но лишь немногие пусть сегодня будут названы. Прежде всего, конечно, Достоевский. Полный контраст Гоголю в самом лице, скуластом, широком, беспрофильном.

Родина — казенная квартира, госпиталь в Москве.

Ни чертовщины, ни воробьиных ночей, ни жирного хуторянства.

Взамен их — традиция благонаправленной чиновничьей семьи. А там, где царствовал Вий, — кадавер<sup>8</sup>, к которому подходят со скальпелем и в очках.

Деревня для Достоевского уже только дача. А мужик Марей<sup>9</sup>, добрый, ласковый, не умеет рассказывать сказок. Наоборот, это он-то, ласковый Марей, и разрушил для Достоевского его единственную сказку «о жутко призрачном волке». Перед нами уже не степной визионер «Вечеров», а лесной трезвенник. Может быть, изувер, но только более не фантаст.

Первый герой Достоевского, Макар Алексеевич Девушкин, очень обиделся на Вареньку Доброселову, когда та с чисто литературной жестокостью дала этому глубокоуважаемому прочесть повесть об украденной шинели<sup>10</sup>. Да и что мудреного? Мой брат — это двурукое? Пусть так! Нас-то ведь с вами воспитали на том, будто Гоголь именно это и хотел выразить. Ну, а Макар Алексеевич ведь на медные деньги учился. Так мог ли же он увидеть в своем прототипе что-нибудь, кроме карикатуры и даже, пожалуй, пасквиля?

Гоголь еще читал «Бедных людей». Но шаг от *него*, т. е. Гоголя, в 1846 г. сделан был уже огромный и бесповоротный, так, по крайней мере, долго казалось. И «сумеречный»-таки за себя отомстил. Пусть, пожалуй, Собакевич соглашается быть не только дроздом, но и клеткой дрозда, — этот новый не успокоится и на человеке, он потребует, чтобы среди самой омерзительной грязи вы не только помнили о его богоподобии, но и умилялись на его богоподобие.

Гоголь-идиллик — а был ведь и такой, говорят<sup>11</sup>, — дал тоже интересный росток и крупный — Гончарова.

Пусть Гончаров позже так отрещивался от Гоголя, но ведь Захар-то налицо; и не в прямом ли родстве состоит Обломов с Тентетниковым или семьей Платоновых<sup>12</sup>?

Гоголь писал пятнами, и, может быть, нигде речь его не провяляла ярче своего гения, как путаясь в своем витийстве и цепляясь о шероховатости своего блестящего фона. Гоголь хватал впечатления, чем мог: и глазами, и ушами, и носом; он пьянился всеми, так сказать, фибрами своего чувствилища.

А Гончаров, тот, напротив, писал правильно и округло, и художник жил в нем более всего глазами. Да и то не блески дразнили Гончарова и не цвета, а формы, при этом уже гораздо более затейливые, чем у Гоголя. А еще интересовал Гончарова узор жизненной ткани, разбор всех этих нитей, теряющих в сплетении каждая свою исключительную окрашенность. До чего бы ни касалась, хоть мимоходом, кисть Гоголя, все тотчас же становилось вещью, типом. Гоголь безмерно множил небывалую жизнь этих типов, их божественную карикатурность. Но Гончаров писал с *брезгливым выбором*, он писал только свое, и притом непременно выношенное, давнее, улегшееся, сознавшее свою исконность и лишь трезво-буднично-типическое.

Ноздрев создан Гоголем. Ноздрев — гениальная выдумка поэта. Но Обломов — тот жил века, он рос, он культивировался незаметными приращениями куста или дерева; для самого Гончарова даже — Обломов долго прояснялся, пока не нашел его тот на диване, на Гороховой и опять с ячменем на правом глазу.

Если Гончарова Гоголь научил глядеть, то Островского он же выучил слушать и лицедействовать. Бальзаминов не попал еще, правда, на смотрины к Агафье Тихоновне<sup>13</sup>, но зато одна гоголевская сцена выросла в целую трилогию. Не кто другой, как именно Гоголь открыл Островскому уши на сокровища Замоскворечья, ему самому, впрочем, кажется, мало известного. Вся поэзия ковровой шали, фризовой шинели и подстриженного затылка пошла именно от Гоголя. Правда, смех Гоголя, еще вполне *чуждый смешливости* его классического мичмана, ярко божественный, творческий смех Гоголя, сверкает у Островского лишь редкими крупницами; правда и то, что Островский не столько смеется сам на выдумку свою, по-гоголевски смеется, как *нас смешит* и что ему нужны для этого: то слеза Любима Торцова,

то словечки особые, то ужимка, то шарж. Но и он, Островский, идет своим путем от Гоголя — самобытный и в то же время нераздельно — наш.

По-своему отразил Гоголя и Писемский.

Но стихийная резкость и столь еще *эстетическая чувственность* Гоголя у этого писателя доведены до цинизма, до жуткой *оголтелости*.

Чичиковы и провинциальные дамы Гоголя положительно лишились у Писемского всякой приятности. Что ж, может быть, он был по-своему и прав, но факт налицо. Округлости расплылись, и они кажутся налитыми желтоватым жиром. Зато как безмерно выиграли эти гоголевские еще *трансцендентные мужики*, попав в костромскую артель. Правда, Михеев и Степан Пробка<sup>14</sup> перестали творить. Теперь они уже не построят из кожи или дерева хотя бы и самого Собакевича, но зато плуты и краснобаи из них вышли у Писемского такие, какие верно Гоголю и не снились.

Я не буду касаться недавно уже потревоженной тени Тургенева. Это был пушкинец, пожалуй, самый чистокровный. Тургенев гармонизировал только старое, весь среди милых его сердцу условностей.

Для Тургенева даже новое точно когда-то уже было. И охраняя прошлое, этот художник жил иллюзией, что это-то и есть *вечное*.

Но Лев Толстой, Толстой-пантеист, конечно, интереснейшая параллель именно к Гоголю.

Толстой — это, так сказать, гоголевская эссенция, это Гоголь, из которого выжгли романтика.

Гоголь-профиль, Гоголь — тревожный гений юмора, отлился в скульптурного ирониста Ясной Поляны. Гоголь-маг в Толстого-бога. Смотрите: ведь Чартков-то, несчастный, — художник из «Портрета», помните, — все еще мечется, но Иван Ильич отстрадал свое и спокоен: он знает себе, что и это... даже это — ах! только-то? Жизнь у Гоголя не боится сверкать бессмыслицей анекдота. У Толстого, наоборот, самое нелепое стечение обстоятельств, например, во «Власти тьмы» выходит необходимым и исполненным природою по заказу яснополянского мастера. Не раз в свое время из ткани гоголевского ковра вытягивали



и ее отравленные нити и кайма обращалась в тряпицу в руках раннего Салтыкова, пока этот медленно выроставший художник еще *карал* повытчиков. Но великолепен был тот же Салтыков скорбным *певцом коняги*<sup>15</sup>, хотя, может быть, и жалко, что конягою пришлось стать не единственной ли индивидуальности «Мертвых душ» — чубарому<sup>16</sup>. Не кто другой, как Салтыков, открыл нам и все проклятье, которое прикрывалось гоголевской гармонизированной жизнью. Именно он-то и населил гоголевскую Русь трагедиями.

Фемистоклюс<sup>17</sup> состарился в Порфирия Головлева.

Восьмидесятые годы прошлого века вырастили своего писателя гоголевской школы. Зябкий и слабогрудый Чехов писал только пастелью, и обладание жизнью выходило у Чехова страдальческим.

Даже в его артистическом равнодушии сквозило, может быть, более всего болезненное *самооберегание*.

Зато Пошлость уже перестала в Чехове грозить<sup>18</sup>, она разве что делала большие глаза и пугала. В ней появились раздумье, нежность; она стала почти мечтою... Пошлость — мечтою?

Но это так.

Преобразилась у Чехова и дорожная гоголевская греза. Чехов не переживал более ни странника, ни беглого, ни ремонтера, ни просто бекешы или енотов в кибитке. А все-таки что-то было и в Чехове неугомонное, что-то мечущееся, что-то смеющееся над расстояниями. В Москву... в Москву... на Большую Басманную... И ведь непременно откуда-нибудь с Аутки. Нет, Гоголь и в Чехове не перестал жить мечтою о дороге!..

Только резкость и холод скорбного размышления Чехова пугали, потому что сам он, нежный, хотя и без малейшей солнечности, был — весь обнаженные нервы. Мир выходил у Чехова не волшебноточарующе-слитым, как у Гоголя, мир-имя: мир-Коробочка или мир-Собакевич, а лишь искусно-омозаиченным то в «Мужиках», то, даже виртуознее, — в распаде «Вишневого сада».

И если Гоголь открывал жизнь, достойную божественного смеха там, где другой глаз не увидел бы ничего, кроме плесени, то Чехов, по его собственным словам, мог из всякой вещи рассказ сделать. Видите — пепельница стоит, так и из нее<sup>19</sup>.

Так вот к чему привелось. Где гении открывали жизнь и даже *творили бытие*, там таланты стали *делать литературу*.

Но уж будто бы, господа, здесь такое понижение и только убыль? И разве не именно *литературищиной* Чехова обличилась в наши дни манфредовская презумпция героизма?

Оцените же заслугу и того писателя, который воочию показал нам весь ужас и весь комизм нашей только литературности.

Но влияние Гоголя не остановилось на Чехове. Напротив, гоголевский черт никогда так всюю не работал, как именно теперь. Отстранивши всех посредников и примирителей, Гоголь-автор действует среди нас уже самолично. Едва ли кто более Сологуба, — правда, редкого Сологуба, не растерянного Сологуба «Навых чар», а Сологуба пережитой им или лучше в нем пережитой жизни «Мелкого беса»<sup>20</sup>, — так непосредственно не приближался к Гоголю. Пускай в телесности Сологуба уже прячется городской соблазн, и луна его точно сделана в Гамбурге. Но что же из этого? Разве все эти сологубовские люди, которых смешно обличать, но еще нелепее любить и даже жалеть, — разве они уже не заготовлялись вчерне в лаборатории «Мертвых душ»?

А речь Сологуба — шероховатая и в блестках, — разве чья-нибудь глядится туда другая, кроме гоголевской?

Странно бы, кажется, среди наследья гоголевской эстетики искать Куприна. Но бес неумирающего Гоголя щекочет и этого писателя. Тип хотел бы слить у него воедино побольше индивидуальностей и весело царить над ними. Но художник то и дело сбивается с ноги. Мораль ломает ему перегородки, и тип поневоле должен прятаться, жить под чужим именем, а иногда, как в «Яме», даже и вовсе без всякого имени, просто в виде какой-то упорной телесности, невыносимо властной, однако, среди самых разубедительных силлогизмов и живой, несмотря на неврастенического Баркова<sup>21</sup>.

Любопытен и арцыбашевский «Санин»<sup>22</sup>. Избави вас Бог только искать базаровщины. Базаров — это был разночинный вольтерианец, и он так же глубоко, как все тургеневское, сидел на своем корню. А Санин, наоборот, чисто по-гоголевски карикатурен и метафизичен.

Любить ее или нет, это ваше дело, но одно несомненно — карикатура вышла *властной*. А заметьте, автор не мог воспользоваться при ее осуществлении таким важным пособием, как смех.

Немногие, кажется, оценили в концепции «Санина» всю ее сентиментальность. Хотя, может быть, именно эта-то черта и делает «Санина» оригинальным эстетически.

*Туже* всегда шли на Гоголя стихотворцы. Экзотизма, т. е. по просту декорации, в нас стало уже так много, что хоть отбавляй.

У меня есть на примете всего одна параллель, и та старая. Через четверть века после «Мертвых душ» так же, как они, была не досказана смертью другая русская поэма — некрасовское «Кому на Руси жить хорошо»...

Далеко разошлись и по замыслу, и по силе, и по темпераменту, и даже по пламенной стихии художников обе поэмы. Но есть в них обеих, кроме даже близкой загадки, что-то общее, что-то никому, кроме нас, не понятное, что-то безмерное, что-то безоглядно наше. И, может быть, только Некрасов своим поздним эпосом дает нам возможность не измерить Гоголя, нет, но ужаснуться всей безмерности того мира, который когда-то дерзко задумал *воплотить*, т. е. *ограничить собою*, Гоголь.

